A person stands in the center of a dark, narrow path lined with trees. At the far end of the path, a bright, glowing light creates a strong lens flare effect, illuminating the scene from behind. The person is silhouetted against the dark surroundings. The overall mood is contemplative and dramatic.

евгений бесчастный

эпоха причин закончилась

Евгений Бесчастный

ЭПОХА ПРИЧИН ЗАКОНЧИЛАСЬ

стихи

Составление, редаKTура, дизайн книги и обложки — **Евгений
Бесчастный**

Фотографии — **Ольга Зелинская**

В третью книгу автора вошли стихотворения, написанные в
Санкт-Петербурге и Бресте в 2016-2020 гг.

I. ПАДЕНИЕ



Неторопливый ветер
в пыльное бьётся окно.
Я ничего не заметил.
Лето почти прошло.

Что-то уходит, что-то,
корабль с увечным ребром.
Августовский, жёлтый
закат проникает в дом.

Видишь, солнечный зайчик
карабкается по стене.
Он ничего не значит.
Просто потерянный, не-

прикаянный отсвет
огня, угодивший в клеть
зеркала, чтобы на осень
грядущую посмотреть.

Тихо форточку тронув,
ускоришь его прыжок
в темень, за дымы вагонов,
за город, звёздный лужок,

за вещи, дела, разлуку.
Лето умчится прочь.
Ты берёшь мою руку,
и наступает ночь.

В городах, где мы раньше бывали,
но об этом забыли,
на перекрытом бульваре,
в заброшенном автомобиле,
в послевоенном цинке,
в заевшей пластинке,
в сентябрьской паутинке,
в государственном цирке,
в картине известного режиссёра,
гвозде фестиваля,
в тумане, где мреют озёра
тугой печали,
в застывшей звёздной метели,
в тёплой постели,
в городах, куда мы летели,
но не долетели,
в свихнувшемся светофоре,
повлѣкшем коллапс и пробки,
в синем глубоком море,
в твоей черепной коробке,
в так и не выданной тайне,
в непреодолимой карме
не останется камня на камне.

не осталось камня на камне.

Для чего пустеют дома? Для чего зима
всё медлит прийти, но и осень как будто пас?
В близорукости предвечерья то снесена
вдруг калитка с петель, то урна вверх дном. Для чего не
спас

никто ветер вечерний, что выл, угодивший в щель
между рам, пока убежал из пустых квартир,
покачать фонари и деревья? Зачем,
кадр за кадром, длится, мигая окнами, мир?

Потому что есть время концовок и время начал,
а связать их не знает как ни один поэт.
Между ними туман и усыпанный галькой причал,
и ты бродишь, чтоб время убить, (а других дел нет)

и бросаешь хлеб уткам, но они не берут;
и старик рыбак ворчит, чтоб ты шёл пугать
рыбу в месте другом. Ты идёшь. Для чего ты тут —
не могу сказать. Не могу сказать.

Когда осядет мусор кучами
в глухих подземных переходах,
я стану музыкантом в Купчино,
смешав насущный труд и отдых,
спую, как колобродят граждане —
актёры, что слова забыли,
и голуби, сюда упавшие,
больные, дряхлые, слепые
в гранитный угол жмутся, жмутся,
и нет, и нет углу конца.
Моя ощипанная муза
за тем углом запрячется.

И лягут звонкие копеечки,
соприкасаясь с чёрным днищем,
как дрессированные белочки
огня, которого мы ищем.
И дождик лёгкими копытами
прискачет мне поклон отвесить,
чтоб в луже облако отмытое
узреть — и жизни не заметить.

Но это всё — когда я вырасту,
со мной случится, а пока —
туда тянуться странной милостью,
где зреет дождь и облака.

Друг мой, брат мой, первый снег.
Кружевной портьеры взмах.
Праздник статуй и калек,
что ютятся на камнях.

Это год почти прошёл,
растеряв сумы улов.
Дворник заскорузлый сор
выгребает из углов.

Это через много лет
вдруг столкнуться, странный стыд
испытав за то, что след
времени в обоих вбит.

Белый шифр, колючий шарф,
недослово шепотком.
Из окошечка забрав
тёплый кофе с молоком, —

это ехать и молчать
всё туда же, головы
от стакана не поднять.
Ничего не говори.

Присниться раз и навсегда
печальным этим берегам,
где всё погосты, поезда,
всем снегирям и всем снегам.

И всех-то дел — не есть, не спать,
то встать пройтись, то снова лечь.
И всех-то дел, что только ждать
речь, как реке всех дел что течь.

В неё, как в зеркало, смотреть
проверить, всё ли это я.
И ждёт лишь белой ночи медь
с прохладой чистого белья.

Пусть этот дом нас запомнит
в облаке одеяла,
в леднике белой ночи
растаявшими без следа,
пока на белых обоях
вьются чёрные розы,
и путешествует муха
курсором по потолку.
Странное наше явление —
чьими мы были глазами,
под чьими мы были глазами —
сливаясь кожей спины
с твердью стены столетней,
чтобы глубокий и чуждый
свет между штор пробирался,
прячась в стакане воды?

Пусть этот дом запомнит
твой человеческий выдох,
тёплый чарующий выдох
и уязвимость любви
в зыбком золоте тела,
и шёпот, что сбросил одежду
смысла, и то, что увидим
в белом высоком окне,
тонущем, затонувшем
в яблочной мякоти неба,
где растворяются с криком
утренних птиц семена,
когда мы это забудем
и, разминувшись, растаем
в медовых объятях рассвета
облаком золотым.

Андрею Фамицкому

«посмотри, это я с тетрадкой...»

А. Ф.

I.

Запах раскалённых электрических конфорок.
Перекати-поле книжной пыли.
Жжёный кофе. С той поры прошли мы сорок
сороков дорог, но чашки не остыли.

В этот сонный путь до красоты пожара
лишь тетради чистые мы брали,
чтоб в ладони поскорей перебежало
рукопись съедающее пламя.

II.

... и книжная пыль оказалась дорожной,
осталось подставить в пробел — куда?
Управившись с этой задачей несложной,
пасутся поэтов небесных стада —

... и кто-то выходит из-за циновки
дождя. И ты прячешься от дождя
под крышей автобусной остановки,
последней страничкой шелестя.

II. ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ



нас если мы выползали из тьмы
словно из чрева китова
гнали назад ибо слишком видны
спите еще не готово

это набросок задел черновик
зачаточных строк аритмия
семя кто в семени код проник
слеживались как родные

долго до нашего рождества
кровь на губах не обсохла
в небесную сеть подрубалась звезда
точкой прицела зорко

шаря чтоб по одному из тепла
шли но кому это надо
девушка эта вдруг подошла
ко мне накануне распада

господи это оно оно
признаки все и симптомы
мы занавешиваем окно
чтобы любить но кто мы

и чем светлее тем хрупче сон
зря их не веря ругали
скоро проснёмся и время вон
выйти с пустыми руками

и если нас выдирают живьём
пусть корни в земле и липа

о ком мы молчим и кого зовём
кому говорим спасибо

спи ещё рано шепчу в полусне
привкус липкий и горький
и слышится где-то на той стороне
скрежет снегоуборки

если спросят то что передать? не сочти за стихи
центробежное месиво жизни разбрызгано в звёздах
но молись о дожде благо нивы безбрежно сухи
разминая руками несущей конструкции воздух

не от мира сего но в грязи увязает кирза
грянься оземь ночную чью слепоту тараканью
прозревая зерном станет видимо и за глаза
так как заново вещи я с той стороны нарекаю

корифей говорить ни о чём на луну справедлив
то что русскому смерть то второе рождение для немца
поплывем побурлим но нагрянет законный отлив
и от ницше природы прибрежной пехоте не деться

сдай экзамен как рыба в воде ускользящий лик
изучи праязык аудированье на пятёрку
полых раковин шум хоровой гомон костный тупик
я родился сказать монолог в чистом поле и только

Мы с тобой навсегда одной крови,
мой неведомый праздничный зверь.
Одной кровли мы, одной хвори,
одной воли и одной скорби,
между нами одна только дверь.

Я её как открою — увидим
мы друг друга — вот будет сюрприз!
Чаепитий тебе, кровопитий!
Наблюдай за мной из-за кулис.

Это вам не рифы созвездий крылом задеть —
это на петербургском граните гнилом сидеть,

совпав плавниками горбатой спины
со мхами и трещинами вековой стены

и вырываясь из пиджака оков
всей древностью чудовищных позвонков,

и напевать: «А мне две тысячи лет;
из тех, кого знал на земле, уже нет

никого, никого, никого, никого...»
И улыбаться легко, далеко, восково.

Говорила Надя Мандельштам:
«Никому тебя я не отдам!»
Минул век — и высохнуть пора бы
этим не откупленным слезам.

Близится осенняя пора,
в школу устремится детвора.
Вылезая из-под одеяла,
горький злой солдат кричит «ура!»

Век летел, сдувая пепел с век,
на запястье стёрся оберег.
И волна колотится о берег
и прыжком заканчивает бег.

Вдруг на звёзды нападает мор,
тихий бесконечный разговор.
Комнатный сквозняк слегка играет
стеклодувом раскаленных штор.

Что-нибудь беззубое скажи,
где ветвятся птичьи виражи,
контуром в закате пламенеют
пониманья золотые рубежи.

ПАМЯТИ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА

Забрали Осю — и не вернули.
Железной пастью молчит замок.
В молчанье душных московских улиц,
в смысл закатали, что между строк.

Нам, это зная, нам — жить и пахнуть
водой душистой — тебе и мне,
где он — рассеян над волей пахот,
на выморочной земле.

КВАРТИРА

Я не знаю, как я сюда попал.
Снял квартиру. После ЦУ, хозяин
разрешил не платить, пока
не привыкну кутаться в рвань окраин,
где всё немо, как на океанском дне,
и небо мрачнее, чем китель милиции.
(От этих троиц держись в стороне.)
Хорошо пить взахлёб и взахлёб молиться,
со случайной книги стирая пыль,
вспоминать курьёзы из биографии,
сокращённой до сказочного «жил-был».
А пожитки — стыдно, если б ограбили.

Дом листвой по окна уже замело,
грай вороний — как голоса по рации.
Добираться отсюда, сказал, тяжело.
... а куда мне отсюда теперь добираться?

Какая разница, кого ты любишь больше?
За теми и за этими придут.
Ни навигатор сна, ни счётчик дрожи —
не вычислить, в какой ведут приют.

Не друг, не враг, не так — простой прохожий,
мужчина без профессии в плаще,
возьмёт тебя татуировкою на коже,
закладкой между строк, щелчком в хряще.

И я смотрю сквозь хохот и сквозь прутья
его разросшейся до неба бороды,
а подо мной сверкают перепутья,
творятся, тают льды. Дрейфуют льды.

III. ДВЕ ЖИЗНИ



ДОСТОЕВСКИЙ

Достоевский бродит по Петербургу.
Жаркая сторона улицы излучает недобрый блеск.
Тенистая сторона улицы пахнет гнильцой и булкой,
на которую, увы, нет средств.

В разбитом окне во втором этаже звучит пианино.
Фёдор Михайлович, утирая пот, стал послушать.
Цокая по брусчатке, мимо проходит лошадь.
Ямщик надрывается: *ну, пошла, скотина!*

В этот момент писатель задумывает роман.
В груди пылает пожар жарче ада.
Душною мглой оваян Екатериниский канал.
Виски стучат. Так всем нам и надо.

Жить — обижать просто так божьих тварей.
А ночью вдруг вспомнится, как ни за что
мальчика в первом классе ударил,
на снег повалил, оторвал от пальто —
будто нечаянно — как его... хлястик.
Он только моргает, мол, как я пойду домой?..

И ты не ответишь. И пыль галактик
горит над его, над твоей головой.

БАЛЛАДА О ДВУХ ПОЭТАХ

в одной некрасивой квартире,
где пахло кошачьей мочой,
поэты печальные жили,
но оба с красивой душой.

ходили вдвоём на работу,
с работы ходили вдвоём.
с полочки, в знак крайней свободы,
имели коричневый ром.

один написал очень много
различного рода стихов.
второй — лишь одно, слава богу,
и то пропустил пару слов.

ночами у них собиралась
муз певчих большая толпа.
поэты немного стеснялись,
но, выпив, читали тогда

большие стихотворенья,
где замысел очень большой,
в одной некрасивой квартире,
где пахло кошачьей мочой.

а днём, приходя с работы,
автор многих стихов
садился скорей за работу,
чтоб больше было стихов,

и, звякнув бутылочкой пива,
писал и лакал горячо.
второй ему как-то стыдливо
заглядывал через плечо.

«оставь ты меня, если вкратце.
всё это было давно.
давай-ка пойдём прогуляться,
мне пива возьмём заодно.

за что нас только любили
женщины и коты,
вот в этой самой квартире
все женщины и коты?»

и вышли они и закрыли
дверь на английский замок.
по облакам тёмно-синим
гулял электрический ток.

дымилась кусты сирени,
прекрасные ни для кого,
и в окнах варили пельмени,
крутили большое кино.

что было потом — неизвестно,
хоть наш городок и мал:
один не писал, как известно,
второй — всё не то писал.

единственное, что мы знаем,
и то — не точно ещё —

квартиру ту продал хозяин:
там пахло кошачьей мочой.

УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ

Учитель литературы
под вечер выходит за пивом,
на блюдечко сыплет монеты,
«спасибо, что дали без сдачи»,
слыша от милой кассирши.
И, стоя на перекрёстке,
учитель литературы
бутылочку открывает
и тему свою развивает,
что всё уже где-то было.
А ветер слегка развевает
жидких волос остатки,
застиранный плащ неновый,
жёлтую книгу жизни.

С чеховскою деталью,
с толстовской мудростью поздней,
с бунинской горькой красою,
с классической цитатой
кура глубоко и горько,
учитель литературы
обдумал весь план урока.
А если ещё четверть литра,
то там пойдут и стишата,
вмещающие всё это,
всё оставляя за кадром.

Возьми узловатые руки,
почти синеватые вены,
как сумерек первые знаки,
как косо бегущие строчки
о школьном звонке бурливым,

о пыли библиотечной,
о вечной пыли дорожной,
о вечной любви недолгой.
Пальцем води по списку
в скучном журнале пухлом.
Склонённые головы низко,
стук нетерпимой указки,
весёлые, грустные лица,
и огонёк первой мысли
в глазах как пылинки мела
в столбах весеннего света,
вошедшего в класс через тюли —
всё это не раз уже было.
Всё это искусная проза,
но если ещё четверть литра,
то всё поглотят стишата.

Стихи поглотят душный вечер,
песок с сухими плевками,
с пробками из-под пива,
с подсолнечною лузгою,
клаксоны машин разноцветных,
скелеты подъёмных кранов
за пустырём песчаным,
а также кота, что, услышав
шипение вскрытой бутылки,
перепугался и прыгнул
в сладкой сирени кусты.

Она курит самосад на Адмиралтейской
Как вещью флейту выщупывая косяк
Чёрный цветок вырванный из контекста
Трав сумасшедших многоточьем торчит в волосах

Она курит как будто готовясь встречать
Того кто исчез до того как возник
И все вокруг как на тайной вечере при свечах
Хоть на самом деле утро час пик

Забудь кто ты есть и спрашивают документы
И сканируют сумки на предмет бомб
Пока распадается дым на клочки незаметно
Чтоб не обнажить одну из прорех за которой Бог

он был твой лучший друг, лучший твой.
может, не лучший, но лучше — нет.
это нас осень поит последней водой.
это слепит глаза самый первый свет.

это трястись в электричке плечом к плечу,
с пейзажем лицом к лицу, как в бою.
если ты сам предложишь, то не хочу.
это скурить тайком всю нычку твою.

это признаться со смехом, на дурака:
давай-давай, мне мораль внуши.
все мы после вчерашнего хороши.
последнее яблоко из рюкзака.

ИЗ АВТОБИОГРАФИИ

Я не курил в подвале с пацанами,
в их стае не слонялся пустырями,
не слушал ветра вой на школьном поле
о боли их, об их футболе.

А ежели и проявлялся в драке,
так только в раннем детстве, ибо всякий,
включившись в цепь питания в спешке,
в мой пухлый силуэт пулял насмешки.

Но и напротив же: я не был книгочеем,
какой-нибудь науки корифеем.
Могильным камнем над побегими таланта
зевок тяжёлый лёг, мол, ну да ладно.
Я был обыкновенным домоседом
и мультики смотрел, укывшись пледом,
за бабушкиными блинами
и пирогами, и сушёными грибами.

Короче, ласточкой с условной вышки
я не кидался в омут жизни или книжки.
Ни жёлтые обои этих комнат,
ни пыль зеркал, никто уже не вспомнит,
и самому мне, право, интересно,
когда и как меня сманила бездна,
отстал ли я от поезда когда-то:
«Билет-то тот, да не верна, дружок, дата!»

Хожу-брожу среди тёмных незнакомцев,
заглядывая в туман оконцев,
на дне (хоть бездна не подозревает
наличие дна, скажу, оно бывает),
где ветер воет обо всех на свете жалко,

и бесконечна, словно космос, свалка
созвездий, музык и иных даров несметных.
И смертные с повадками бессмертных.

Время выйти из комнаты, смеясь, совершить ошибку.
Ты нуждаешься в солнце. И никакую «Шипку»
не куривал отродясь, а прочёл про нее в Википедии.
Время выйти из комнаты дыма длиной в столетие.

О, время выйти из комнаты: всё равно воротишься
ночью
изувеченным, как бифштекс. Но есть шансы, что не
вернёшься.
Вошедшая милка опять станет жертвой облома:
тот выгнал, не раздевая, этого нету дома.

Время выйти из комнаты, оторваться от монитора,
потому что другого нет коридора,
кроме того, из которого видишь себя, автостопом
едущего в салоне, заражённом шансоном/хип-хопом.

О, время выйти из комнаты, как говорится, из матрицы:
только лишаясь адреса, ты можешь спрятаться
в жизнь, которую только на фото видел.
Да, она, чай, не Франция. Хуже — даже не Питер.

Ты примелькался — уже не прокатит инкогнито.
В возгласе счастья есть смысл, когда он от холода:
из-за баррикад философии, вбросов, вопросов, есть
способ
выйти из комнаты, как сделал когда-то Иосиф.

Рано утром разгружал вагоны,
обретя забвенья радость в деле.
А над складом серые вороны
пели, пели, пели, пели...

Вот и всё. Последний тюк ложится
в пирамиду, кончив танец до упаду.
Взять расписку, после доложиться
менеджеру, чтоб кидал оплату.

Над цехами плыли туч гидроцефалы.
— Будет дождь!
— Без зонтика! Не каркай!
Спутник мой теперь — вот этот малый:
он владеет банковской картой.

Знаю: не оставит, не обманет,
а попросишь — так предложит сигаретку.
Небосвод калёной сталью налит,
в это время так бывает редко.

ДВЕ ЖИЗНИ

Ночь тяжела. Но аврора пышет
розовощёким здоровьем. Под гогот чаек
он курит в лицо ей и пишет. И то, что пишет,
ящик стола от пустоты выручает.

А пишет о том, что он — литератор,
и даже мелькал в каком-то хорошем журнале;
и критик такой-то в статье называл его братом
по духу. (Не все такой мед пожинали!)

Есть подражатели, есть и на чтеньях немножко народу.
Но осыпаются вялой листвой нелепые лавры:
у зеркала смочит вихор и напялит робу,
и — в цех, где начальник промолвит: «Лярвы!

Мне объяснительную на стол за куренье
в неположенном месте в рабочее время!»
Жизнь покажет змеиный язык, раздвоенье,
распутье, диктующее стихотворенье.

Есть в мироздании признаки шизофрении,
ззорчик, раскол, половинки пригнаны худо.
Но все мы просили, чтобы спасли-сохранили,
чтобы простили — и всем этим веет оттуда.

ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ

Можно научиться писать продающие тексты
и устроиться в молодую, динамично развивающуюся
фирму!

Но лучше и дальше месить бесконечное тесто
теней, заглядывая как бы за ширму,

за которой ты становишься кочегаром,
и, как Виктор Цой, работаешь сутки через трое.
А чтобы ночи не пропадали совсем уж даром,
пока за чёрной заслонкой гудит пламя злое,

писать себе повесть, не зная, хорошо или плохо
то, что ты пишешь. Вести диалог об этом устало
с полуночным гостем, горький смех чередуя и вдохи
горького дыма. А это уже не мало.

А когда станет ясно, что сказке конец уже близко,
пухлую стопку доверить рабочей прожорливой печке.
(На развязке особенно вспыхнет.) Оставить жене и детям
записку
не даст, обратный отсчёт завершая, печень.

Эти стихи прямы и буквальные, и поэтому плохи,
но какая-то муза ведь сдуру и их диктовала,
сметя со стола оставшиеся от посиделки крохи
и пепел. А это уже не мало.

Кате Капович

Слишком мало города Петербурга,
чтобы двое с двух полюсов сошлись.
И не вспомнить, где начиналась прогулка:
зарулил за пивом — ан пролетела жизнь.

Но за ней начинается тут же другая.
Те, кого не хватятся,
чьи страницы пусты,
ловят строки волн, медных львов пугая,
за домами, жёлтыми, как пески.

Проплывает себе это дело над Невским.
И пустыня не внемлет, и пиво горчит.
И звезда говорить бы рада, но не с кем,
потому с Молчаньем на равных молчит.

моим стихам, написанным так плохо,
что и классрук бы не признал, что я поэт;
что не спасёт их ни редактор, ни эпоха,
ни аккомпанемент, ни пистолет;

им, писанным с обиды иль по пьяни,
иль просто при проезде в городском
автобусе, где ноги оттоптали,
придёт черёд знакомиться с костром,

испепеляющим и файлы «ворда»,
и всё, к чему он устремит крыла,
до атома, до знака будет стёрто.
но если от рождённого тепла

ты улыбнёшься, скованная спячкой,
и выдохнешь среди зимы большой,
то, значит, я не зря бумагу пачкал
наполнившей чернильницу душой.

IV. ВОСКРЕСЕНЬЕ



Никто не знает обо мне. И магазин
откроют только в девять тридцать.
Боявшийся, что скоро стукнет тридцать,
теперь, бессонной ночи господин
и бог, дела давно минувших дней —
твоё бесславное тридцатилетье.
От всей поэзии остались междометья,
как землетрясение — от камней.
Зачем мы доживаем до утра?
В стихи играютя небритые мужчины,
по каменному дну тащимы,
тень корабля, сгоревшего дотла.
Когда восходит солнце, я хожу
туда, где жизнь свою переживаю,
как будто этот дом труба-шатаю,
чьей шаткостью, как жизнью, дорожу.
С утра откроют магазин, где ждёт во тьме,
из горлышка прихлёбывая, сторож.
Надеюсь, ожидания Ты стоишь
во тьме. Никто не знает обо мне.

нечего ждать и скучно пить чай
в гулком аквариуме дней
из репродуктора птичьих стай
крики осенних кровей

пальцы замёрзшие кран струя
блёстки в луче воды
здравствуй о это осень твоя
это ещё не ты

эхо запаздывает тишина
через которую вплавь
полутона полудома
из яви текут в полуявь

золото траченное водой
льётся во все углы
дворник светящийся как святой
водит веслом метлы

листья в будущий жар сгребя
плоскость чуть накрена
всё начинается после тебя
после меня

Никому не скажу: *приезжай*.
Дел по горло у всех без меня.
У меня — всех и дел-то, что чай
настоять на закате дня.

И цедить, и цедить этот чай.
Но в природе такого нет
чая, что бы помог нам за край
перебраться туда, где свет

не вечерне-воскресный, когда
душит жалость к себе и страх,
но в котором сошлись города,
дорогие черты — в облаках.

ВЫХОДНОЙ

Говорю, что живу — сам лишь трачу время,
неизвестной культурой в теплице зрея,
где у почвы для семени времени много,
и находится оно для выходного.

Когда привидением с тряпочкой пыль
стирая, хожу, вспоминаю быль,
и небылиц, словно чётки, слова
перебирает моя голова.

От желтоватой портьеры печальной
свет проникает слегка театральный,
являя пылинок не изгнанных действо,
а также создание этого текста.

Время — вот всё моё, скажем, добро.
Вечером встречу жену у метро,
и, за руки взявшись, мы двинемся с ней
домой, той дорогой, что всех длинней.

Пора бы мне исправиться,
задуматься о будущем
и с вредными привычками
расстаться навсегда.
Побольше зарабатывать,
внедрить саморазвитие,
душеполезных чтение книг,
и фитнес полюбить.

Но странное я чувствую
тупое разобщение
с собой, как будто кукольным
я чем-то заражён.
Я чувствую беспомощность,
беспомощность, любимая:
капризен стал характер мой,
и старится лицо.

Да, розовыми жилками
ланины покрываются,
и тяжелы конечности,
и голова пуста.
И это — не лень-матушка.
Я делаю усилие,
но тело, душу двигаю
как будто бы не я.

Как будто некий кукловод
цепляется крючочками
к моим суставам, косточкам
и — ну в бесовский пляс.
А я борюсь — лишь путаюсь,

переплетая ниточки,
и в паутине времени
кузнечиком торчу.

И реет пыльный занавес,
и не приходят зрители,
и крокодил не ловится,
не пишется роман.
А мимо едут байкеры,
пыхтят заводы трубами
и в первобытном мороке
грохочут поезда.

Теперь, когда мне ближе к сорока,
чем к двадцати, где всё ещё парю,
я вдоль зеркальных билдингов брожу,
как Джойс по Дублину (сказал другой поэт),
шаги подстраивая под щелчки
большого маятника Фуко.
Зайду ли в аккуратное кафе,
где вилок звон и телевизора бабай,
смотрю ли, как солдат, перед собой —
уже боюсь: любви мне не сносить!
И всё стремится к странному концу,
но не завершается никак.

Стихи приходят в виде лишь одной
строки, и то успеть бы записать,
как будто бы горит в твоих руках
бумага — пламя хочет и тебя!
Теперь стихи — что бережно писать,
и складывать в старательный альбом,
что их с улыбкой Будды жечь,
укоренившись в мраморном углу
на метрополитеновских ветрах.

V. ВОДА И ТРАВЫ



Чьё-то детство пройдёт среди этих
турников, и высоток, и трасс.
Кто-то, где-то кого-то встретив,
эту зиму припомнит как раз:
как в железобетоне том жили,
наживали добро и зло.

Мы чужие — чужие — чужие —
повторяю дорогой к метро.

птицы плещутся в жидком тепле сентября
о в тенёта тумана ещё не пускайте
ты вернулся домой тонок дом как игла
позвоночное облако тает в закате

я вернулся в свой город забытый до слёз
чтоб в подъезде себя усадить на ступеньки
по которым то вверх а то вниз себя нёс
а урок к бесконечности вёл перемены

я запомню тебя лунноликой рекой
под мостом безымянным
в час поцелуя
всё затихнет когда дай мне встать боже мой
выйти взгляды минуя

Фейковые аккаунты — больше не альтер эго.
Все обретают простую форму (давно пора!).
Жизнь, т. е. облако случаев, ждёт участь снега,
а после во двор залетает весёлая детвора.

Три шарика и морковь. И остаётся таять:
старые книги, бессонница, черновики.
И если от солнца нас охраняет память,
зачем мы не помним, что мы снеговики?

Нету нас про запас. И толку от нареканий?
Солнце встаёт всё раньше, вода питает траву.
Жизнь — это то, над чем мы смогли развести руками.
Ты мне говорила: *живи*. И вот, я живу.

Дождь-плотник о карниз стучит,
из дома что-то мастерит,
из города, из мира.
Что ни предмет — прогнивший зуб:
строений кряжи, комли труб,
электромачты лира.

И серый день как серый дым
сгоревшей жизни. Нерушим
и крепок водный невод.
И дело к вечеру идёт,
но всё никак не рассветёт,
как, впрочем, не стемнеет.

Ведомы призрачным пари,
бредут в плащах поводыри,
пароль — в блокноте тленном.
Дождь-дворник накосо метёт,
и всё никак не рассветёт
причин за неимением.

ПАМЯТИ ЮРИЯ БЛИНОВА

Ты ушёл, но музыка звучит,
не остановившись на черте
пониманья. Так ручей журчит
где-то в зарослях — невидно, где.

Где-то в глубине, за гранью, за
сада изгородью, чья сеть
так тонка, что сквозь неё нельзя
ни проникнуть за, ни посмотреть.

Заприметить в очереди в «Бургер Кинге»
чувака из какого-то параллельного класса.
О жене, переезде, дипломе, книге
не заговорить. (А вот и свободная касса.)

Ловелас, гроза дискотек и щёголь,
вызываемый на ковёр к директрисе за грубость,
весь оплывший, пасмурный нынче, как Гоголь,
и тебе спасибо за близорукость!

Ибо это — беспомощность: что ни его сандалеты,
ни залысины, ни брюшко, что добавились в имидж,
словно паутинку, нерв бабьего лета,
не сотрёшь рукавом, с чужого плеча не снимешь.

Что есть увядание, как не аллергия на время,
на его неразборчивый почерк, на потребление фаст-фуда,
на забытые имена и упавшее зренье,
на путь — неизвестно, куда, не вспомнить, откуда?

Дом, оставленный за спиной, исчезает, тает, как снег:
там — всё меньше его, здесь — всё меньше тебя. Туда
возвращаешься — видишь: дрожит очертаний вода
и в пустыню несёт на себе караванами рек,

отражая, все стены и пол, обязательно потолок,
воскресенья убывающего лучи.
Завтра в школу. И, если не выучил ты урок,
то садись и учи,

пока вечера чай по обоям стекает, пока
набухают чернилами тучи, пассажирского лифта гром
за стеной назревает. И пока дом
исчезает, как снег, без тебя — без твоего холодка.

Итак, мы встретимся через двадцать лет.

Договариваясь о встрече, испытаем странное чувство вины обоюдно, точно эту дверь открывать неприлично. И вообще, глазами встречаться неловко: слишком большие, живут какой-то отдельной осклизлой жизнью, как некие морепродукты. Спрошу сигарету, чтоб как-то развеять неловкость, хоть бросил давно. (Он, как выяснится, курильщик, а раньше всё было наоборот.) И тут же раскаюсь, едва удержав тошноту.

Короче, человек вырастает во что-то нелепое, чтоб не сказать уродливое, с кадыком и обветренной кожей, и чересчур длинным носом.

В общем, человек вырастает либо во что-то плоское, слишком простое: книг не читал, не смотрел, не слышал. Либо во что-то голое, жалкое, я бы сказал, ощипанное, прячущееся за чужими книгами: читающе-смотряще-слышавшее.

В общем, плачевное.

Итак, это — через двадцать лет, а пока мы хороним мёртвого голубя в песке неподалёку от наших домов, с тем чтобы (якобы) через год откопать, посмотреть: что будет? Тугие бутоны причин наливаются соком. На скамейке сидят старики.

Может быть всё, что угодно.

Работать на каком-нибудь заводе,
из труб которого валит вонючий сумрак,
и цвета голубиноного помёта
плывут над производством облака.
Поспорить с мастером, что в сыновья годится,
на пол бетонный выхаркнув мокроту.
В курилке возмущаться с мужиками.
В столовой на обед жаркое взять.

А в пятницу, особенно с получки,
ходить с своею верною бригадой
в хорошее недорогое заведение
под лаконичной вывескою «Гриль».
Клевать башкой над пластиковой рюмкой,
над пластиковой, опять-таки, тарелкой,
с огрызком хлеба и с куриной лапкой,
и с кетчупом, размазанным по ней.

Сняв рюмку на эмоциях в гармошку,
доказывать ершистому Серёге
(а — что — при построенье предложенья,
к концу, запнувшись после «бля», забыть).
И также позабыть, столкнувшись лбами
с Серёгой, то, что целью столкновенья
вообще-то по задумке было стукнуть,
а вовсе не, братаясь, лобызать.

Измазать кетчупом и майонезом
друг дружке столь бесхитростные лица,
пойти отлить, упасть неловко, но небольно.
Так двадцать лет вливаться в коллектив.
Опомниться у чёрта на куличках,

без кепки и борсетки, но с Серёгой.
Чуть свет вползти в свое жильё с торчащей
куриной костью из кармана брюк.
Но если ты — да так, простой прохожий,
на каждого чуть-чуть похожий,
любой собачке беглой брат-товарищ
и кошечке дворовой сват и кум;
и если вы решили прогуляться
с женой, хотя холодные погоды
стоят, и разрушает Петроградку
осенней ржавчины короста, например.

Откупорен уж если термос чаю,
тела водружены в сидячей позе
на старой лавочке в саду, но всё же,
от холода нет мочи кружку взять;
но если, если, если, если, если,
всё это вместе — если-если-если,
и ты — давно не ты, не удивляйся,
что голуби, гуляя мимо вас,

столь откровенно вас не замечают:
от топота нет-нет вспорхнув лениво,
вновь бухаются на сырую землю,
имея виды на бюджетный бутерброд.
А то таращатся, заглядывая в лица
глазами совершенно неживыми,
выкачивая душу; сесть стремятся,
как попугаи на пиратское плечо.

Ещё не раз из окон, что неплотно
прикрыты, из тех окон, что повисли
среди облаков, вдруг засквозит иною жизнью,
непрожитою жизнью засквозит.

И сослагательным воспоминаньем
картинка явится, как вы вели друг друга
довольно бережно, под мелкий снежный мусор,
в какой-то, как окажется, тупик,

за гаражами — то канавы, то коряги,
а за одну цепляется борсетка,
и кепка, бля, слетает прочь в канаву,
а то, что слезы — это от любви
к родному городу, который не покину,
к заводу, к лабиринту на отшибе,
где снега кислородная подушка,
и вездесущ универсалий слова «бля».
И сон холодной курицей застынет,
карманом вывернется наизнанку,
и лица, очень серые в субботу,
серее голубиноного крыла.

Галине Сивченко

В моём Бресте не было «Бургер Кинга» —
на «Колхозном» рынке лежали свиные головы, все
глаза проглядев, в глазах чернела хитринка,
что-то знающая о своём продавце.

Искривляя пустые пространства окнами дико,
сорняки панельных высоток росли из песка.
Четверть века писалась там моя первая книга
по ночам, но с утра страница была пуста.

На бессмысленной скорости пробираясь к вокзалу,
троллейбус вечно ронял на мосту рога,
чтоб, пока ты ждёшь, река тебе показала
в закат уплывающий труп врага.

Четверть века прошла, и закончилась ссылка —
поднялись рога, «Бургер Кинг» открылся, и мы ничьи.
Но лежат до сих пор на том рынке, что в форме цирка,
с ухмылкой, повелители мух, циркачи.

И ты можешь сюда вернуться, себя не выдав, —
привиденьем, без цели и надобы, но, неуклюж,
корпус лезет в кадр, навсегда становясь частью видов,
изображенных на рваных открытках луж.

Олегу Горгуну

мы встретимся зимой у KFC,
чтоб выпить кофе, а скорее, чай.
пока я жду, ещё на небеси
не отдана команда: «выключай
луну и зажигай тоскливый день» —
как и любой в той замкнутой стране.
давай съедим какую-нибудь хрень,
поговорим при утренней луне.
что бог послал: картофель-фри,
потёртый бутерброд из рюкзака.
Венеция, мой друг, как ни смотри,
как та луна, отсюда далека,
как и любая точка вообще.
а близок только страха уголок,
и всё серьёзно. от таких вещей
укроет ли поэзии дымок?..
но если в нас хоть что-то есть
от *тех*, о ком так много говорим,
так то, что мы рассеяны как персть
земная и развеяны как дым.
но время истекло, и что сказать?
прощаться — но нам нечего прощать.

больше не терять и не искать.
больше не искать и не терять.

эта новая жизнь будет вмещать:
тонкий запах кофейной гущи,
слегка отдающий чернозёмом,
просветление между первой
чашкой кофе и второй,
едва различимые в гуще тишины,
далёкие крики пары,
играющей в бадминтон.
Ставишь усталые ступни на холодный кафель,
жилы раздуты, как у скульптур Микеланджело.

Но отчего —
змеёй под сырой камень —
скользнёт где-то у горла
былая боль?
Ты на привязи.
Так твоё нелюбимое лицо
неизбежно отразится в реке,
из которой не напиться,
по которой не уплыть.

ЖЕНЕ

Подъём в пять сорок, из сигарет
и кофе — завтрак. И — на завод.
До нашей встречи — ещё пять лет,
пять лет бессонниц и несвобод.

(Отыскиваю дневники —
как жить, себя так шутя круша?)
«С з/п мы ездим на шашлыки:
я, Слава, Славины кореша».

Багажник водки, палатка, лес,
стробоскопический пляс стрекоз
над озером. Ночью — куда я влез? —
маршрут мой дó ветру крив и кос.

Ещё так долго до нас с тобой,
как — тоже видишь? — до той, вдали...
Мигает в небе, кружа звездой,
какой-то летчик, Экзюпери.

VI. ЭПОХА ПРИЧИН ЗАКОНЧИЛАСЬ



Эпоха причин закончилась.
В разгаре эпоха следствий.
Не греби против течения, не порти карму.
Зачем сопротивление, если это не наша война?

Мой начальник
приказывает мне
ориентироваться на результат.
Кришна
рекомендует мне забыть
о плодах труда.
Я верю Кришне.
Даже если его нет,
его мнение согласуется
с моей природой.
Если он есть,
я убиваю сразу двух зайцев.

Мой начальник
подкрадывается ко мне сзади,
заглядывает через плечо
и орёт на чистейшем санскрите:
— А ну п...уй работать, Арджуна х..в!
Как известно, многие черты санскрита
сохранились в русском языке,
потому фраза в переводе не нуждается.

— Как же так? — Кладу я голову ему на грудь. —
Я не знаю, в чём виноваты
передо мной эти люди!..
Зачем мне убивать их?
Я не знаю, кого мне выбрать

в качестве врага.
Я хочу в постель,
и чтоб вай-фай и сериалы.
Помоги мне, мой мудрый руководитель!

Мой начальник надевает выходной смокинг
и среди слонов и лотосов поёт и танцует,
баюкая меня:

— Милый мой мальчик, это не наша война.
Прости меня и всех причастных,
что втянули тебя в здесь и сейчас.
Но у нас не было выхода.
Никто не прав, никто не виноват,
и эти оба никто всё равно
завалят друг друга.
А война везде, где ты.
Тонкая кровавая ниточка
тянется к твоему ложу,
к твоей колыбели,
к твоей могиле.
Потому
давай закончим смену
и вернёмся к своим женщинам, которых мы
должны защищать.
Сожрём калорийный ужин,
а потом попытаемся их хоть как-то удовлетворить.
И поблагодарим их за то,
что они предпочли
коротать век с неудачниками,
а не мечтать о миллионерах до старости.
Они спасли нас от войны
с нашим собственным одиночеством.
От войны,

которую мы с позором проиграли.
И пока ты хочешь жечь калории,
п...уй работать, Арджуна ты х..в!

Я влезаю в скелет, как в скафандр,
вкладываю в полости набор органов.
(Если комплектация неполная,
мы шлём рекламацию.)
Разматываю, как новогодние гирлянды,
кровеносную и нервную системы,
а напарник помогает мне пришпилить
их в труднодоступных местах.
Я оклеиваюсь червяками мышц и осклизлой кожей,
втыкаю волосы.
Надеваю лицо.
(Иногда мы с напарником меняемся лицами
и ходим к жёнам друг друга, а то скучно.)
Я наклеиваю бороду,
надеваю светоотражающий жилет,
беру исполинскую лопату
и вприпрыжку бегу, ловя на язык
пули,
бегу
разгрести нищенские снега Кали-юги.

РАЗОБЛАЧЕНИЕ ОДИССЕЯ

Одиссей не пускался в плавание,
но остался в своём портовом городе,
в глухой квартире, на юру, на окраине,
чтобы долго жить и недорого.
Телемах узнал это, приехав сюда
впервые за двадцать лет
навестить одинокую родственницу.

За плетёным столиком под маркизами
на жарком берегу моря
он открыл эту истину.
Явиться ли к Одиссею? —
вот, что он не мог решить.

Ты становишься взрослым, поняв, что смертен.
Дальше, к добру ли, ко злу,
приходится делать вещи, которые уже не исправить.
Каждая может стоять глаза, руки, всей толщи грядущего.
К какому чудовищу броситься в объятья —
выбираешь ты.
Но выбор — это тоже чудовище.

Столкнуться с Одиссеем лицом к лицу —
это как увидеть обратную сторону луны,
разгадать загадку Творения;
оставаясь живым, узнать, что после смерти.

Но Одиссей оказался не герой морской.
Он живёт мелко и желчно, как земноводное.
Он выходит утром в аптеку или за хлебом и молоком
со следами подушки на лице,
сером и мятом,

как дешёвая туалетная бумага.
Он пьёт таблетки в надежде продлить
жизнь свою, низкорослую и ухватистую, как сорняк.
Он ушлый сварливый старик,
готовый к драке с юношами,
от которых принимает оскорбления в подъезде
или в общественном транспорте.
И если не встретиться с ним сейчас,
то уже никогда: Одиссей скоро умрёт.

Но Одиссей оказался так приземлённо, прозаично доступен.
Известна улица, известен дом и номер квартиры.
Можно взять паром и уже через полчаса
быть на северной оконечности
широко рассыпанного по приморским холмам города.
Унять дрожь, утереть липкий никотиновый пот,
надавить на твёрдую, нечасто используемую кнопку звонка.
Услышать, как по ту сторону двери отвратительно треснет
тишина,
длившаяся всю его, Телемаха, жизнь.
Школьный звонок, театральный звонок, тревожный звонок,
последний звонок.
Теперь прибавился ещё и вот этот звонок.
Не с первого раза, с третьего, с четвёртого,
когда мелькнёт надежда уйти восвояси ни с чем,
с той стороны послышится копошение,
застонут половицы, на несколько секунд погаснет
точка света в дверном глазке,
жахнет старый замок, и обитая драной клеёнкой дверь
разинется, как старческая челюсть.
На прозрачное стекло
навсегда ляжет нестираемая амальгама правды.

— Вам кого? — неприятный, высокий, человеческий голос.

Слышишь голос и понимаешь, что с этим человеком вы друг другу
никогда не понравитесь.

— Я ваш сын, Телемах. У вас была жена, Пенелопа, она давно умерла. Я ваш с ней общий сын Телемах. Вы видели меня младенцем. Вы оставили нас. Я пришёл на вас посмотреть.
Нет, мне ничего от вас не нужно.

А Одиссей — что? Будет стоять, как на построении? Молча? Автор не умеет прописывать диалоги. Твой голос на Гомеров совсем не похож. Сколько ни пытайся прослушать будущее, как живот беременной женщины, ты не услышишь его голос.

— Мне от вас ничего не нужно.

— Мне от вас тоже.

Поэтому не стоит вскрывать фамильный склеп,
незачем вызывать тень слепого старца,
заставляя его переписать свою поэму.
Потратить разность между временем, указанным на обратном билете,
и тем, что на часах,
угощая тётушку очередным капучино,
наблюдая, как тает линия горизонта,
как возносится среди воды обелиск,
как солнце ставит белые клейма
на каждую волну;
как волны баюкают огромные прибрежные камни,
вечные и одинаковые — плоть от плоти.

VII. ПРОЩАНИЕ С АТЛАНТОМ



ПРОЩАНИЕ С АТЛАНТОМ

Мимо дома твоего мои маршруты
неизбежность никогда не пролагала.
Только в час досуга, на прогулке,
миновать его всё время тянет,
словно там царит магнит вселенский,
а в груди моей застряла пуля.
Так влечёт убийцу или вора
посмотреть на место преступления.

Как остаток от землетрясения,
на углу покоится он грудой
черепков иль декорацией замшелой
затонувшего давным-давно театра.
Я не видел здесь паломников в экстазе,
ни туристов бодро-равнодушных.
Даже из прохожих, тут снующих,
голову едва ль поднимет кто-то,
чтоб узреть, какие люди тут живали.
Так когда-то дикие туземцы
пришлецам коварным земли раздавали,
по невежеству иль по наивному расчёту,
за стекляшки, вовсе без сопротивления,
поплатившись прекращеньем рода.

Впрочем, трётся вот один мальчишка
в шарфике и с фотоаппаратом.
Кадр делает и фото изучает.
По ночам, наверно, что-то пишет
и кому-то подаёт надежды.
О, я сам, я сам в его-то годы
так тебя копировал безбожно:
шёл пешком с шумящего вокзала,

от окраин пробирался к центру,
римским корешам строчил депеши,
в рифму троллил всех подруг неверных.
Получалось откровенно худо.

Слава богу, всё проходит. Даже это.
Я и сам, признаться, этот дом минуя,
останавливаюсь лишь поспешно,
фотоснимок сделать тут стесняюсь.
Что-то в этом есть — как разрыдаться
на людях, как если хлынет носом
кровь в вагоне метрополитена,
как в любви признаться не взаимно
или просто выйти в люди голым.
В общем, что-то есть такое в этом духе.
В общем, просто не хватает духу.
Предрассудки ли провинциала,
неуверенность ли, будешь ли доволен,
что нагрянул гость неименитый?..
Впрочем, я не гость, а так, прохожий.

Эти люди все тебя не замечают,
ибо ты успел покинуть город
в срок и как бы сделаться прозрачным,
а вернуться каменным обломком,
где фамилья-имя и две даты —
этого достаточно, чтоб призрак
устоял на месте, не решаясь
ни напасть, ни улететь, ни раствориться.
Ты успел эвакуироваться. Больше
в этом городе что делать — не представляю.
Кто, земную жизнь пройдя до середины,
из глубинки в этот город переехал,
тот собой распорядился очень странно.

(Если только не злой рок швырнул в азарте,
как медузу, умирать на берег.)

На спектакль под занавес явившись,
что же остаётся сделать — только
лишь, доверившись чужим аплодисментам,
бросить по цветку к ногам актёров.
Но тебе подать цветок не смею.

Да, гранитный профиль, дело в камне:
так тебе идёт гораздо больше,
чем кривая тёплая усмешка,
груз живой и уязвимой плоти;
чем изящество литературных пальцев,
созданных для отрыванья фильтров
от крепчайших сигарет. Всё это тленно,
тленно — значит, временно и больно.
Остаётся главное — и это
удержать способен только камень.

Что ж, гранит, держи свой затонувший
дом на дне. Пусть тени проплывают
в этом городе, где веет тиной древней
на любой приличной лестнице парадной.
Понадеемся, что ничего уж кроме
никотина и поэзии не будет.
А не то всплывёт наверх, наружу,
где слова не высекаются на камне,
а из уст бесхитростных выходят
пустячками, мошкаррой-подёнкой,
и летят недалеко, не достигая
середины шумного проспекта.
Ну, прощай! Уже горит зелёный.

Просто ты здесь побывал — и вот, табличка.

И любой прохожий две-три строчки —
если сам не назовёт, так угадает,
кто их автор — уж за это я ручаюсь.
А не угадает — ну и ладно:
вряд ли это что-нибудь изменит.
Вряд ли что-то что-нибудь изменит.
(Как ни прохожу — всегда гвоздики
одинаковой ступени увяданья.
Словно сразу их кладут такими:
сине-чёрные скукоженные звёзды.
Кто-то же кладёт!) Вот повод к речи.
Это всё, что от тебя осталось.

МИСТЕР ПУШКИН

I.

Мистер Пушкин вернулся. Нисшествуя грузно по трапу,
он поправляет очки, надевает шляпу,
холёной рукой приглаживая аляповатый пучок кучерявых седин.
Улей писак, филологов, папарацци
сквозь оцепленье к нему норовит прорваться.
Мистер Пушкин, как бриг, проплывает, невозмутим.
Он давно привык быть один.

II.

«Мистер Пушкин, извольте ответить на пару вопросов
как поэт, как политик и как философ!
Существует ли на сегодня реальный способ
молодёжи достичь успеха посредством пера?..»
Мистер Пушкин шагает мимо довольно близко:
до чего аппетитная нынче пошла журналистка!
Штурмовать эту тупость святую — точно на лире игра.
Ах, отменные буфера!

III.

А в программе визита — встреча с главой государства,
посещение дома-музея себя и другие мытарства.
Вдруг по-рыбьи хватает горячий воздух: астма.
Чтобы фокус вниманью вернуть, открывает Facebook:
количество лайков под стихотвореньем в соц. сети
числом превосходит живущих и живших на свете.
Вот рукопожатных вельмож тучный круг.

Айфон выпадает из рук...

IV.

Русский мат, зародившись на пухлых устах эмигранта,
не дозревшей ягодой рушится в вечность обратно
(со стихами так тоже бывало неоднократно).
Министерских ладоней нащупавшись, лоб
вытирает платком — никотиновый пот проступает.
«Вроде солнце скрылось, но бесцеремонно парит», —
замечает кто-то. По чёрным Ауди — и дверцами хлоп —
на красный и знаки «стоп».

V.

Здравствуй, хмурый край, орошённый слезой и водкой!
И сирена кортежа — с плакуче-нетрезвой ноткой.
Сам Господь велел отметить свиданье соткой.
Жаль, что верная фляжка в полёте опустошена.
Где ж медовое тление осени? Рай кленовой
листвы на воде и небес, отраженных в одной?
Неужели и слёзы, и спирт иссушила жара?
Или родина не ждала?

VI.

Здравствуй, край болот! По печальнейшей из традиций
нам сюда выпадает снова и снова родиться,
над могильной плитой при жизни чтобы трудиться —
величая памятником, за честь эту благодаря.
Из столиц в тайгу убегают, ржавая, рельсы
и кружат грачи — обезумевшие погорельцы,
чернотой гортани молитву тебе творя.
Наливается кровью заря.

VII.

Впрочем, всё это лирика. Меньше бы горевали
тюфяки с министерскими головами —
если бы не слава и не семизначные гонорары —
о поэте, пустившемся с молодости в бега.
Всё смешнее становится вспоминать с годами,
как цыганка в юности нагадала
не сказать ни слова и сдохнуть от пули врага.
Как ты, родина, дорога!

VIII.

Прибывающий в город видит его с изнанки,
как бы с чёрного хода: заборы, шлагбаумы, знаки,
позаброшенных фабрик потусторонние замки
производят продукт под названьем ничто.
Некто в грязных джинсах разбитое чинит корыто,
под капотом которого тело, как в пасти льва, скрыто
ровно наполовину. Всё желтком жары залитó,
Всё не то. Всё не то. Не то.

IX.

Вот пришло сообщение. Гений вздыхает тяжко:
«Вышли денег, *rara!* Чмоки-чмоки! Твои Наташка,
Гришка, Машка, а также твой тёзка Сашка!»
Им кутёж студенчества стал чересчур знаком...
Для мадам Натали путь к счетам, слава богу, отрезан,
потому что она в бегах с актёром Дантесом,
чьей карьеры венец — молодёжный ситком.
Коли так, то вздыхать — о ком?!

X.

Мистер Пушкин велит водителю мчать к отелю:
дескать, рад делам гос. важности, только телу
на седьмом десятке, как бы душа ни хотела,
да ещё в жару, с дороги, т.д. и т.п.
Передайте министру моё почтение! Буду к банкету!
Молодой шофёр ухмыляется: вишь их, поэты!..
И теряется, с чемоданом, отдавшись судьбе,
Мистер Пушкин в большой толпе.

XI.

В царстве правильных линий, скверных решений
архитектора карьериста, серости, отражений
того, от чего бы скрыться скорей, отторжений
от себя в коридоре стеклянных фасадов, чьей величиной
с космодром возмущаются волны канала под бременем
измещения.

«Хорошо, что хотя бы поэзия движется к сокращенью:
только то, что сказал бы, дрейфуя, условный Ной.
В идеале же — круглый ноль».

XII.

Тычут яркие флаеры промоутеры, зазывалы.
Скейтбордист подрезает, ревёт: «Вы б не зевали!»
Столь знакомый проспект едва различим сквозь завалы
рекламы. (Со временем в женщине так появляется некое
«но».)

Мистер Пушкин заходит в отель, ищет бар, где рулетка,
узнаёт у швейцара и по карману стреляет метко.
Через час всё погибло и не может быть спасено.

На то оно и казино.

XIII.

Пустота — это почва для роста, особенно если не с кем разделить её, кроме как с ветром невским.

Мистер Пушкин, как встарь, просит виски на вексель — бородатые бармены верить ему не хотят:

что одно его слово стоит таких заведений добрых
десять штук и что тысячи стоит даже автограф.

Нобелиату 2050

добавки налить не хотят.

XIV.

Мистер Пушкин, устав от бильярдных, блондинок в теле,
наскребает официанту на чай еле-еле,

просит ключ от номера у метрдотеля,

согласившись вписать на память строфу в их тетрадь,

встречен с почестью, мол, обслужен, как подобает.

Человек в этом возрасте, хоть и гений, но понимает,

что стихи все любят, но в общем-то всем плевать.

В номер! В номер! Упасть на кровать.

XV.

После ванны он надевает английский смокинг,

полирует ногти, пьёт виски и долго смотрит

в зеркало: «Что ты можешь сказать после стольких

слов?.. Ничего? Да что с тебя взять? Эфиоп!..

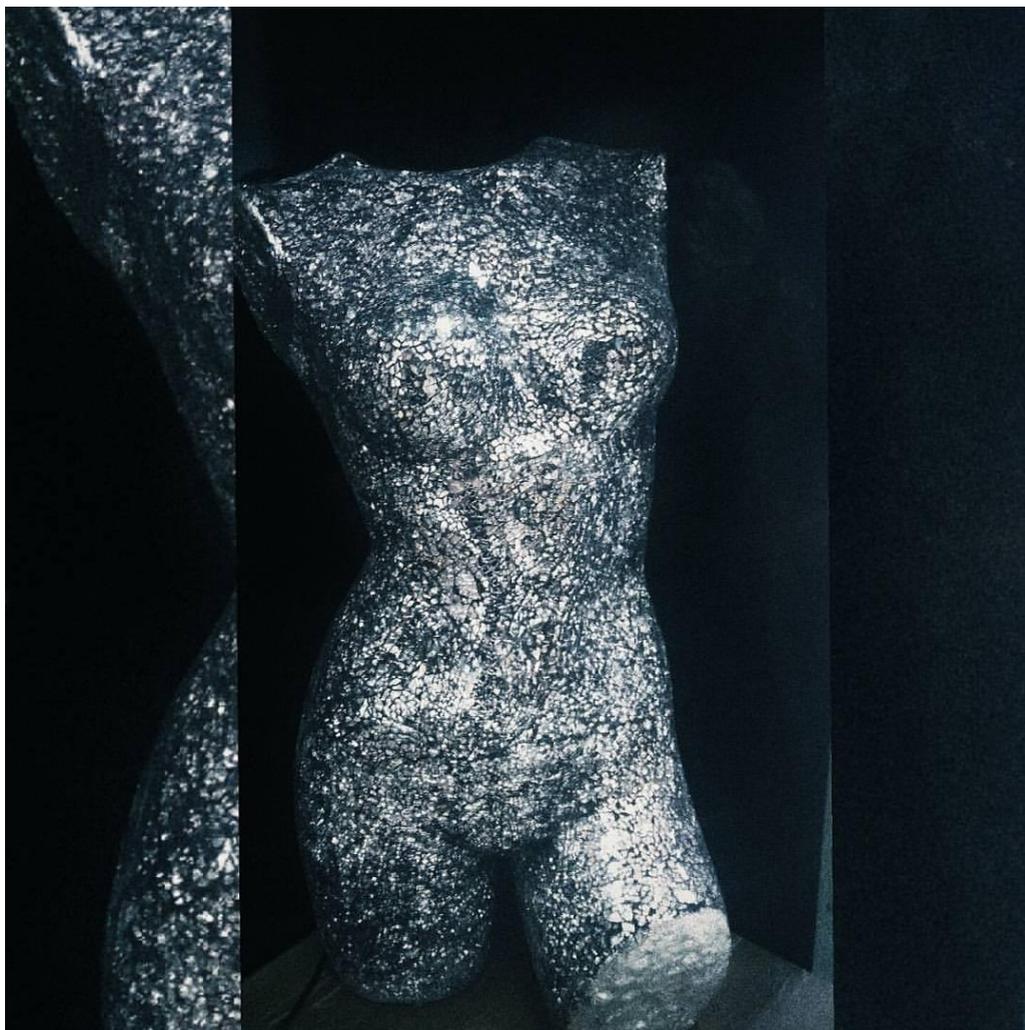
Ты разбитый сосуд из-под случайного дара!»

Мистер Пушкин берёт старый браунинг из чемодана,

ощущая прохладный — спасенье! — по телу озноб,

и пускает себе пулю в лоб.

VIII. РАСПРОДАЖА!



КОНСПЕКТ

1) нет времени
редактировать тексты
говоришь как есть как придётся
метнуть камень во врага

нет времени
писать тексты
опухоль смысла внутри
метастазы строк неопасны
прогноз хороший

нет времени
распаковывать чужие
метафоры: очевидно
этот багаж уже не выволочь
туда куда идём
а гордиться придётся списком
непрочитанного а не наоборот

нет времени
становиться лучше обтёсывать себя
думать как стать кем-то другим
трудно даже собой
трудно и тем что есть
не выходя за поля
без помарок
трудно быть с красной строки
-не опрокинув стеллаж с дорогим вином
-не коснувшись контактного рельса
-не сев на «окрашено»
держа себя за шкурку а то того гляди
выскочишь из чёрных контуров своих

как мультипликационный герой
и разноцветным облаком развеешься над городом

в зеркало если и смотришь
то лишь с новой удивительной целью:
«Я ЛИ ЭТО??»
если и Я то это
ни о чём не говорит и мало
имеет отношения как к созерцающему
так и к созерцаемому

2) не будет времени править
— как есть —

не будет времени набираться слов
— теми что есть —

не будет времени расширяться
— о том что есть —

глядя в замочную скважину мира

3) с определённого момента
теряется смысл начинать просмотр фильма
ничего не понятно
но всё-таки можно
посвятить остаток угадыванию
деталей начала
а не ключей конца
или включить фоном к:
-беседе
-шитью
-выпивке
-любви

-засыпанию

4) и даже тогда
дико раздражает реклама

ЧЕМПИОНАТ МИРА

матчи не смотрю,
футболом не интересуюсь.
но об итогах меня
довольно принудительно
уведомляет законный мир:
если пешеходы
оголтело галдят и улюлюкают,
а машины сигналият,
значит,
кто-то победил.

В стороне от проспекта, рабочие головы сняв,
курят человеческими головами
Петух и Лисица, Лев и Жираф,
Заяц и Волк — забыв, как друг друга гоняли.
Вот так обнялись над огненной геенной
урны горящей — убийца и убиенный.
А когда пролетит перекура пора,
опять облачатся дарить флаера
спешащему по делам либо праздному люду:
«два блюда по цене одного блюда!»

И кутерьма магазинов и пабов, и гос.
учреждений, притонов, чьи манят чары,
в конце конденсируется в такой хаос,
что всё вот-вот начнётся сначала.

Пушкин писал лучше, чем я.
Есенин писал лучше, чем я.
Полозкова пишет лучше, чем я.
Да что там, даже Дмитрий Львович Быков
пишет лучше, чем я.
И уже полно тех, кто моложе
и пишет лучше, чем я.

Но поэзия — это, в общем, фигня,
вечный червь, пожирающий вечное
яблоко.
Но, в общем, фигня.

Мир со всеми, со всеми делами
справляется лучше, чем я.
Повар готовит лучше, чем я.
Богомольная старуха в подземном переходе
зывает ко Всевышнему лучше, чем я.
Президент обещает лучше, чем я.
Кухонный таракан приспособлен к жизни
лучше, чем я,
а соседский кот в ней устроился
гораздо лучше, чем я.

А бедная бесполезная моя голова
пустой хеллоуинской тыквой —
скорбные прорези глаз и рта —
со свечкой внутри
по гниlostной тьме погребца
глухо катится, пока
какой-то веселый мальчик
не наступит на неё, раздавив в труху.

А когда вырастет, раскается
в кресле психоаналитика
или за пьяным столом
и будет заниматься самобичеванием
лучше, чем я.

Великие раздражают.
Посредственность режет глаза.
Ёжишься от осознания,
будто только что из воды.
Никто не могущественней тебя:
и бомж, и владетельный олигарх
давятся вишневой косточкой
смысла.
Каждый — лишь блик солнца на оконном стекле.

Сорванец с рогаткой уже в пути.

Восемнадцатилетние, девятнадцатилетние
уже говорят о тебе за глаза:
«этот стрёмный мужик».
Между вами стекло
ещё прозрачное, но уже непрошибаемое,
зарастающее
дорожной пылью,
высохшими брызгами дождя.
Видимость ухудшается,
и с твоей стороны эту грязь не стереть.

Сорокалетние
говорят тебе: «молодой человек».
Стекло между вами растаяло,
корочкой льда на лужице,
а ты всё не сделаешь шаг в их сторону,
как баран, приученный проходить
только сквозь ворота.

Твои сверстники
о тебе не говорят,
не узнают друг друга в гриме,
разбрелись кто куда,
кричат: «Ау!»
Но никакого леса нет.

И никто на самом деле не заблудился.

кино закончилось, и надо жить дальше.
не показать спутнику, что прослезился,
поттише хлюпяя полным сентиментальной слизи носом.

кино закончилось, и лучше говорить о бытовых вещах:
как надоела работа,
что будет дальше,
что творится в мире,
а в супермаркете очередная просрочка по скидке,
нельзя пропустить, надо брать.
надо жить дальше, не пускаясь в обсуждения
только что закончившегося фильма,
иначе уже на второй фразе
стошнит от собственной банальности.
это хуже похмелья,
слезоточивого газа,
скандала с женой.
хуже всего — когда понимаешь,
что ты сам — очень плохое кино.

кино закончилось.
надо жить, как будто оно продолжится вечно,
при этом смирившись,
что тебе туда не попасть.

*«Из забывших меня можно составить город»
И.А. Бродский*

Из тех, кто меня не забыл, можно составить
небольшое застолье, бутылку поставить,
поместить это дело на необитаемый остров,
чтоб выбывали по одному с каждым тостом,
как в том детективе. Но, видишь: все, кого видишь, —
только проекция памяти. Ты не выйдешь
из комнаты больше. Музыка отыграла.
Есть тишина и чёрная плоскость экрана.
Как вереницу кадров, как бликов вьюгу
мы длим друг друга, мотая по кругу
лица, события, грустные песни.
Где вы, мои искатели, отщепенцы?

ТАЙНОМУ ДРУГУ

Я не знаю, жив ли ты, но мне захотелось поговорить с тобой, как случилось раньше. Моя жизнь как будто распалась на части, эти части странно не клеятся между собою, не стыкуются, как присыпанные мукою, кусочки теста, так в моём детстве с бабушкой вареники мы лепили. Я, как доктор Живаго, плыву сквозь большую историю, сам её не задевая нисколько, семьюстами страницами несколько скучного чтива предваряя тетрадку стихов. Жизнь как предисловье.

Я хотел показать тебе просто картинку. Картинку. Я заметил, как голуби умирают стоя. Вдоль домов, облупившихся, точно варёные яйца, происходит их утреннее построенье, полумёртвых и мёртвых, ветром за ночь прибитых в углы, а с утра, в савок заметая их, дворник высыпает в зелёный пузатый контейнер, В выходной день или же по недосмотру эти голуби мёртвые так остаются надолго, как памятники сами себе. Вот такая картинка.

Я искал тебя, но не нашёл. И попутно мой гаджет всё просил доказать ему, что я не робот. Я замешкался. Кто его знает, кто мы. И, конечно, лучше не знать, так спокойней.

Покажи мне свою контекстную рекламу, и я скажу тебе, кто ты. Да, я скажу тебе, кто ты.

СОДЕРЖАНИЕ

I. ПАДЕНИЕ

«Неторопливый ветер...».....	5
«В городах, где мы раньше бывали...».....	6
«Для чего пустеют дома? Для чего зима...».....	7
«Когда осядет мусор кучами...»	8
«Друг мой, брат мой, первый снег».....	9
«Присниться раз и навсегда...»	10
«Пусть этот дом нас запомнит...».....	11
«Запах раскалённых электрических конфорок...».....	12

II. ПЕРВОЕ ЯНВАРЯ

«нас если мы выползали из тьмы.....	14
«если спросят то что передать? не сочти за стихи...»	16
«Мы с тобой навсегда одной крови...».....	17
«Это вам не рифы созвездий крылом задеть...»	18
«Говорила Надя Мандельшт.....».....	19
ПАМЯТИ О.Э. МАНДЕЛЬШТАМА	20
КВАРТИРА	21
«Какая разница, кого ты любишь больше?»	22

III. ДВЕ ЖИЗНИ

ДОСТОЕВСКИЙ	24
«Жить — обижать просто так божьих тварей...»	25
БАЛЛАДА О ДВУХ ПОЭТАХ	26
УЧИТЕЛЬ ЛИТЕРАТУРЫ	29
«Она курит самосад на Адмиралтейской...»	31
«он был твой лучший, лучший твой»	32
ИЗ АВТОБИОГРАФИИ	33
«Время выйти из комнаты, смеясь, совершить ошибку»	35
«Рано утром разгружал вагоны...»	36
ДВЕ ЖИЗНИ	37
ПРОДАЮЩИЕ ТЕКСТЫ	38

«Слишком мало города Петербурга...»	39
«моим стихам, написанным так плохо...»	40

IV.ВОСКРЕСЕНЬЕ

«Никто не знает обо мне. И магазин...»	42
«нечего ждать и скучно пить чай...»	43
«Никому не скажу: <i>приезжай</i> ...»	44
ВЫХОДНОЙ	45
«Пора бы мне справиться...»	46
«Теперь, когда мне ближе к сорока...»	48

V.ВОДА И ТРАВЫ

«Чьё-то детство пройдёт среди этих...»	50
«птицы плещутся в жидком тепле сентября...»	51
«Фейковые аккаунты — больше не альтер эго»	52
«Дождь-плотник о карниз стучит...»	53
ПАМЯТИ ЮРИЯ БЛИНОВА	54
«Заприметить в очереди в «Бургер Кинге»	55
«Дом, оставленный за спиной, исчезает, тает, как снег...»	56
«Итак, мы встретимся через двадцать...»	57
«Работать на каком-нибудь заводе...»	58
«В моём Бресте не было «Бургер Кинга»	61
«мы встретимся зимой у КФС...»	62
«эта новая жизнь будет вмещать...»	63
«Подъём в пять сорок, из сигарет...»	64

VI.ЭПОХА ПРИЧИН ЗАКОНЧИЛАСЬ

«Эпоха причин закончилась...»	66
РАЗОБЛАЧЕНИЕ ОДИССЕЯ	69

VII.ПРОЩАНИЕ С АТЛАНТОМ

ПРОЩАНИЕ С АТЛАНТОМ	73
МИСТЕР ПУШКИН	77

VIII. РАСПРОДАЖА!

КОНСПЕКТ	83
ЧЕМПИОНАТ МИРА	86
«В стороне от проспекта, рабочие головы сняв...»	87
«Пушкин писал лучше, чем я»	88
«Великие раздражают»	90
«Восемнадцатилетние, девятнадцатилетние...»	91
«кино закончилось, и надо жить дальше»	92
«Из тех, кто меня не забыл, можно составить...».....	93
ТАЙНОМУ ДРУГУ	94

